

НАТАН ЭЙДЕЛЬМАН

ГРАНЬ ВЕКОВ

— ЗАГОВОР ПРОТИВ ИМПЕРАТОРА —

Политическая борьба в России
на рубеже XVIII–XIX столетий

Издательство АСТ
Москва

ЧАСТЬ I

ГЛАВА I

РОССИЯ ДВЕСТИ ЛЕТ НАЗАД

Мой друг, таков был век суровый.

А. С. Пушкин

В 1780-х и 1790-х годах книги и газеты напоминают о приближении нового столетия. Самое известное прощание с XVIII веком принадлежит Радищеву:

*Нет, ты не будешь забвенно,
столетье безумно и мудро...*

Другой поэт предсказывал России:

Се гениев твоих столетье.

Впрочем, такого фетиша времени, какой явился потом («новый год», «новый век»), в ту пору еще не было.

В полночь с 31 декабря на 1 января чаще всего мирно почивали; чиновникам, отдохавшим с 24 декабря по 7 января, император Павел оставил начало рождественских праздников, 24–26 декабря (когда и провожали уходящий год), а далее — только воскресные и «табельные» дни: особо торжественной встречи нового столетия ни в 1800-м, ни в 1801-м не происходило (в отличие от 1901-го и — угадываем — 2001-го!). Объясняется, на наш взгляд, это прежде всего тем, что в то время не придавали значения «мелким делениям» — минуте, секунде: у большинства жителей, ложившихся с темнотой, поднимавшихся с рассветом, ни стенных, ни каких других часов не было и в помине. В тех же домах, что жили по часам, знали только свое время: в самом деле, как сверить, согласовать стрелки, маятник в столице, на Волге, в Сибири, на Камчатке — не по радио же?.. Одновременность была в ту пору растянутой; то, что происходило сей час на другом краю планеты, плохо воспринималось как синхронное, и, скажем, накануне рождения Пушкина «Московские ведомости» от 25 мая 1799 года печатали столичные известия от 19 мая, из Италии —

апрельские, из Нового Йорка — мартовские, о предполагаемых же совместных действиях Буонапарте с Типу-султаном сообщалось еще в течение многих недель после гибели знаменитого индийского правителя в сражении с англичанами.

К тому же за сто без малого лет еще не везде привыкли считать века от рождения Христова, а не от сотворения мира, год же начинать от Василия Великого (1 января), а не от Семенова дня (1 сентября); вдобавок, законодательница всех мод Франция недавно ввела революционный календарь и объявила началом первого века Свободы 22 сентября 1792 года.

В общем, 200 лет назад Россию не очень занимало, в каком столетии она находится...

Совсем непросто и сегодня, на закате XX века, разобраться, каково было то, позапрошрое столетие. Как представить в коротком обзоре жизнь большого народа, государства, дух и волнение давно минувшего времени?

В цивилизациях древних, скажем, фараоновском Египте, Риме, нас часто удивляют отдельные черты сходства с позднейшей эпохой. 34-вековая давность, конечно, усиливает сегодняшнюю власть скульптурного портрета царицы Нефертити; живой цветок от безутешной юной вдовы на саркофаге Тутанхамона вряд ли привлек бы столько внимания, если бы речь шла о гробнице XVIII–XIX веков нашей эры.

Что же касается сравнительно недавних времен — 100, 200 лет назад, — тут мы, наоборот, чаще представляем прошедшее более «современным», чем это было на самом деле: ведь 1800 год от нас всего в 7–8 поколениях! И тем важнее в сравнительно недавнем прошлом вдруг заметить нечто особенно неожиданное, непривычное.

Суворов 5 мая 1799 года захватил в Италии очередную крепость, французскому же гарнизону дал «свободный выход», с тем чтобы 6 месяцев с русскими не воевать («*Моск. ведомости*», 28.V.1799).

Одним из благороднейших дел своего века Денис Иванович Фонвизин находит поступок Никиты Ивановича Панина, который из девяти тысяч душ, ему пожалованных, подарил четыре тысячи троим своим секретарям.

Известие об эпидемии, пожирающей наполеоновскую армию на Востоке, заканчивалось надеждой: «...и скоро их всех ч... поберет» («*Моск. ведомости*», 28.VI.1799). Черт — слово совершенно нецензурное.

Среди нововведений второй половины XVIII века — прежде неведомые в российских домах самовары, первые на российских полях подсолнухи и «земляные яблоки» — картофель.

В обычае поздравлять главу враждебного государства, если он спасся от смерти. Так, Георг II Английский в разгар войны с Францией передает Людовику XV сочувственные, дружеские слова по поводу покушения на его жизнь; однако к концу столетия, по мнению русского посла в Англии С.Р. Воронцова, происходит упадок этикета: Бонапарт и Павел I не посылают поздравлений своему врагу Георгу III Английскому (тоже спасшемуся от убийцы), зато Георг III не поздравляет Павла с рождением внуки.

И еще два эпизода — не из второй, из первой половины XVIII века, но характерные для всего столетия.

Почти исчезли, будто провалились в подземное царство, сведения о мощном восстании в Таре (Западная Сибирь) и многолетней экзекуции, через которую прошло до 2 тысяч человек — из них около двухсот умерло под наказанием. Сверх того более тысячи человек покончили с собой... Огромное по тем масштабам дело в сущности открылось только через 250 лет (*Покровский, с. 34–66*)*.

Взойдя на престол, Елизавета Петровна посылает на Камчатку штабс-фурьера Шахтурова, с тем чтобы он доставил к ее коронации (то есть через полтора года) шесть пригожих, благородных камчатских девиц. Представления царицы о размерах собственной империи были приблизительными: только через 6 лет (и на 4 года позже коронации) царицын посланец с отобранными девицами достиг на обратном пути Иркутска... (*ПБ, ф. 874, оп. II, № 301*).

* Здесь и далее см. в конце книги полное библиографическое описание использованной литературы.

Часть приведенных подробностей формально не очень важна, анекдотична, второстепенна, но приближает удаленного на века исследователя к его главной, по сути, цели: пониманию, «общему языку» с прошлым; напоминает об осторожности, осмотрительности даже в сравнительно недалеком историческом путешествии.

Пространство

11 декабря 1796 года в Иркутске начались соборный благовест и пушечная пальба в честь нового императора: рано утром примчался правительственный курьер (начиная с Павла, он будет именоваться фельдъегерем), который всего за 34 дня преодолел расстояние в 6 тысяч верст от столицы на Неве до губернского города на Ангаре. Больше месяца Иркутск жил под властью умершей Екатерины II. Камчатка же присягнет только в начале 1797-го (см. *«Иркутская летопись»*, 143).

6 тысяч верст, разделенные на 34 дня, около 180 верст в сутки, — курьерская скорость... С древнейших времен до первых паровозов максимальной скоростью человеческого передвижения была быстрота лучшего коня или тройки, колесницы: примерно 20 километров в час на коротком пути, и меньше, если делить длинные версты на долгие часы. Поэтому в 1796 году Россия — страна огромная, медленная (в 30–40 раз медленнее и, стало быть, во столько же раз «больше», чем сегодня); страна, где от обыкновенного черноземного гоголевского городка «три года скачи — ни до какого государства не доедешь». Между тем солидные путешественники только с петровского времени принялись скакать сломя голову; прежде — чем важнее, тем медленнее: воевода из Москвы в Якутск, «на новую работу», ехал в 1630-х годах не торопясь, пережидая разливы и чрезмерные холода, ровно три года (средняя скорость — 7 верст в сутки). В XVIII–XIX веках медленная езда подобает только царской фамилии. Сохранилось расписание 1801 года, относящееся к приезду Александра I из Петербурга в Москву на коронацию (сходный порядок был и при коронаваниях XVIII века): в первый день кортеж

проходил 184,5 версты (ночуют в Новгороде), во второй — 153 версты (ночуют «в Валдаях»), на третий — всего 92 версты (сон в Вышнем Волочке), на четвертый, отдохнув, — 134 версты до Твери; на пятые сутки экипажи пройдут 113 верст до Пешек, на шестые — всего 50 до загородного Петровского дворца, и оттуда, только на седьмой день, «имеет быть торжественный въезд в столичный город Москву» (*ЦГАДА, р. V, №206, л. 72*). Медленности выездов соответствовало и долгое возвращение, так что еще в 1750-х годах улицы северной столицы зарастали травой, пока двор и множество сопровождающих и сопутствующих не перемещались обратно, на берега Невы.

Огромная страна под властью свирепейших морозов. В северном полушарии за последние три-четыре века самое лютое время — XVIII столетие: в феврале 1799 года в Петербурге в среднем «29 с половиной по Реомюру», то есть 37° по Цельсию.

Огромные расстояния — немаловажный элемент истории, социальной психологии страны, то, что еще ждет освоения великой литературой XIX века. Пока же обширные территории — весьма широкое основание для политических обобщений. «Российская империя, — запишет Екатерина II в важном и секретном документе, — есть столь обширна, что, кроме самодержавного государя, всякая другая форма правления вредна ей, ибо все прочие медлительнее в исполнениях...» (*РИО, VII, 345*). Из этого царица выводила мысль о желательности для таких диких просторов разумного самодержца-просветителя, но находила «неудивительным», что Россия «имела среди правителей много тиранов».

На огромных пространствах империи за год до смерти Екатерины II проживает 18,7 миллиона душ мужского пола, общее же число подданных приблизительно устанавливалось удвоением: 37,4 — около 40 миллионов россиян, из которых треть в нечерноземном центре, много — в западных и юго-западных губерниях, но чем дальше на юг, а особенно на восток, тем глуше, просторнее... На всю Сибирь, сложив души двух гигантских генерал-губернаторств (Тобольского и Иркутского), удвоив, прибавив кочевые кибитки коренных, местных обитателей, едва набирался миллион (*Клочков, 416*).

Заселить — приманкой, насильно, как угодно — пустующие пространства. Екатерина так увлеклась этой идеей, что серьезно отнеслась к плану Потемкина выпросить у английского правительства приговоренных к каторжным работам для освоения причерноморских степей. Посол в Лондоне Семен Воронцов гордился тем, что сумел остановить эту «благодетельную меру» (АВ, XI, 178)*.

40 миллионов человек; если же вычислять, «кому на Руси жить хорошо», если попытаться сосчитать «правлящих» (дворяне, по крайней мере с офицерским чином, соответственно чиновники с VIII класса и выше, плюс верхний слой духовенства и зажиточные неслужащие землевладельцы), то получим более 200 тысяч (или — семейно — 400 тысяч), то есть примерно один процент.

Один к ста. Можно указать и приблизительный уровень благосостояния «правлящего процента»: на одного владельца приходится в среднем 100–150 крепостных (400–500 рублей годового оброка); столько же, примерно 300–450 рублей, составляло и годовое жалованье у чиновников VIII класса и жалованье штаб-офицеров.

Исходными данными для этих расчетов были сведения о численности в 1795–1796 годах: чиновников — 15–16 тысяч, в том числе около 4 тысяч с I по VIII класс дворян — 224 тысячи духовенства — 215 тысяч (по данным К. Германа), офицеров — 14–15 тысяч (исходя из известного числа генералов — 500 и из обычного для русской армии XIX века соотношения генералов и офицеров 1:30) (см. Зайончковский, гл. 4; его же. *Правит аппарат*, 66–67).

Внутри же «одного правящего процента» свой один процент: высшие среди высших. Это 300–400 чиновников I–IV класса, то есть статских генералов, и 500 генералов военных**.

* Здесь и далее перевод с французского не оговаривается.

** Вычислено по изданию «Список армейскому генеральству по 30 апреля 1799 года» с рукописными дополнениями, явно относящимися к тому же времени. — *Государственная историческая библиотека, ОИК, конволют № 707.*

Генералы (не все, конечно) составляют значительную часть тех избранников судьбы, тех 700–800 человек, у кого более 1500 крестьян (и в ответ на обычную просьбу пожаловать еще крепостных душ Екатерина II, непрерывно жалуя, ворчит: «Уж столько пожаловано, что уж мало остается, что жаловать». — *АВ, XXVIII, с. 25*).

Тут начинается мир, где обыкновенное парадное платье, например, Потемкина стоило 200 тысяч рублей, то есть годового оброка 40 тысяч крепостных; где зажигали на балах до 100 тысяч свечей; где «тарелки спускались сверху, как только дергали за веревку, проходившую сквозь стол; под тарелками были аспидные пластинки и маленький карандаш; надо было написать, что хочешь получить, и дернуть за веревку; через несколько минут тарелки возвращались с требуемым кушаньем» (*Дубровин, 1, 200; Головина, 43*).

Около 40 миллионов жителей и огромное пространство с максимальными скоростями передвижения 10–20 километров в час... Как редкие острова в снежном равнинном океане — города, городки (к концу царствования Екатерины II их было 610), однако каждый третий (230 городков) был разжалован Павлом в селения и местечки.

Всего шесть душ из каждой сотни — городские жители, а 94 из 100 — селяне.

Как мелкие островки, скалы, камни — деревни по 100–200 душ, и 62 из каждой сотни — крепостные. А на всю империю никак не меньше 100 тысяч деревень и сел, и в тех деревнях известное равенство в рабстве (80% тогдашних российских крестьян — середняки); но высшей мерой счета было у тех людей 100 рублей, и «кто имел 100 рублей, считался богачем беспримерным» (*см. Ковальченко. Крестьяне*). Деревеньки, в нелегкой борьбе отвоевывающие у дикой природы новые пространства (в одной Западной Сибири за XVII и XVIII века добыли 800 тысяч десятин пашни и сами себя обеспечили хлебом).

100 тысяч деревень, оживающих при благоприятном «историческом климате», но зарастающих лесом, исчезающих с карт целыми волостями после мора, голода, а еще чаще — после тяжелой войны или грозного царя.

«Неминуемое следствие...»

Хорошо бы не торопясь пройти по деревенькам, городкам, имениям, скитам, столицам, закраинам гигантской империи, где, согласно оглавлению «Самого новейшего, отборнейшего московского и Санкт-Петербургского песельника» (Москва, 1799), звучали в ту пору «песни военные, театральные, просто-народные, нежные, любовные, пастушьи, малороссийские, цыганские, хороводные, святошные, свадебные...».

Однако подробный разбор разных пластов той империи, во-первых, здесь невозможен, во-вторых, уместен в следующих главах, когда речь пойдет о переменах, коснувшихся народа и общества в последние годы XVIII столетия; в-третьих же, читатель так много знает о русском XVIII веке, что можно порою опереться на эти знания, определяя основной смысл, дух, стержень эпохи. В этом случае, как и во многих других, полезно посоветоваться с гениальным российским поэтом-историком Александром Сергеевичем Пушкиным, особенно учитывая его близость к изучаемым временам и чрезвычайный к ним интерес. Современники свидетельствуют, что разговор о предшествующем столетии был для Пушкина из самых приятных...

«Петр I не страшился народной Свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон (...) История представляет около его всеобщее рабство...» (Пушкин, XI, 14). Двадцатитрехлетний кишиневский чиновник формулирует основной парадокс прежнего века: просвещение и — рабство...

Под просвещением имеются в виду, конечно, не только школы и книги, но целая система изменений, реформ, преобразований в экономической, политической, военной, правовой, культурной, духовной сфере...

Казалось бы, самодержец-просветитель, просвещая, ведет мину под свой режим: «свобода — неминуемое следствие...». Но — не боится, «доверяет своему могуществу», «презирает» и как будто не ошибается: просвещение и «всеобщее рабство» как-то уживались, и автор недавно обнаруженной «Благове-

сти»*, удивительного по смелости документа 1790-х годов, восклицает: «И что только ни устроено и сделано — города, флоты, армия, и все, что ни есть, вашими руками устроено, вашим потом чела вся Россия питается и кормится, от неприятеля сохраняется отечество, а вы...». А вы?..

Ответ точен и печален: «...сколько ж помещик или господа ваши съедают напрасно ваших трудов, сколько, рассердись на лошадь или кого-нибудь, человек убил, за собаку человеку жизнь отнял, за недозволение на блуд дочери или жены не один убит, что так погублено вашей братьи невинно и миллионы наберутся, а сколько на каторге, в неволе, в заточении находится неповинных людей, счислить нельзя!» (*Клибанов, 319*).

Свобода и рабство — при том, что употребление уничтожительного «раб», «раб твой» запрещено Екатериной II и уж сочинена «Ода на истребление в России названия раба...» («Красуйся радостью, Россия, Восторгом радостным пылай...» и т. д.). Свобода и рабство, но разве подобные характеристики — о социальных контрастах, о золотых дворцах и бедных хижинах, о мудрых книгах и миллионах безграмотных, о свете прогресса и мгле деспотизма — разве они не являются обязательной принадлежностью истории любого народа? Разве не так в Японии, Перу, Вавилоне?

Так и не так. Подобные парадоксальные сочетания старого и нового вряд ли встречались в XVIII столетии в другой стране. В российском варианте кое-что кажется совершенно самобытным. Некоторые петровские издания выходили, например, огромными тиражами, в 10–15 раз больше того, что печаталось при Пушкине, — тиражами, из которых 9/10 сгнивало на складах, но все же 1/10 брали читатели. Выходило — как слепых котят к молоку, силой: «Нате, вкушайте, попробуйте не вкушать...» Тем не менее за последнее тридцатилетие XVIII века выходит около 7 тысяч книг (общим тиражом около 7 миллионов экземпляров), существует около 100 периодических изданий (*Луппов, 103–104; Штранге, 21*).

* Шляхтич Еленский, которого А.И. Клибанов считает народным идеологом, а П. Г. Рындзюнский — «просветителем, обращавшимся с проповедью своих взглядов к народу как бы извне» (*История СССР, 1979, I, 223*).

Или из устава кунсткамеры, согласно которому любому посетителю подавалось угощение — лишь бы зашел!

Итак, первая самобытная особенность XVIII века — быстрота перемен, идущих в немалой степени сверху, от престола.

«Петровский взрыв», когда число мануфактур за одно царствование вырастает в 7 раз; когда со своими 10 миллионами ежегодных пудов чугуна (155 тысяч тонн) страна выходит к 1800 году на первое место в мире и гениально созданная, крутым кнутом погоняемая телега несется пока что быстрее английского паровичка; и Пушкин говорит о «вдруг» явившейся российской словесности, а серьезный критик российского прогресса М. М. Щербатов полушутя, полусерьезно исчисляет в 1770-х годах, «во сколько бы лет при благополучнейших обстоятельствах могла Россия сама собою, без самовластия Петра Великого, дойти до того состояния, в каком она ныне есть в рассуждении просвещения и славы», и выходило, что вместо сорока петровских лет понадобилось бы 210 и страна лишь в 1892 году достигла бы петровских результатов, если б «не мешали внешние обстоятельства» (*Щербатов, II, 13–22*).

Но быстрота не единственный признак российского XVIII века.

Два полюса — «рабство» и «просвещение» — после «петровского взрыва» резко отодвигаются друг от друга на большое социальное расстояние, и притом друг другу «как бы не мешают». Больше того, и цивилизация, и рабство усиливаются синхронно: пересекаясь и переплетаясь, одновременно вступают в российскую историю школы и рекрутчина, Академия и подушная подать; календари, грамматики, учебники, переводы, и право помещика ссылать крестьян в Сибирь, и гордость палача за умение тремя ударами кнута лишить жизни (*см. Тучков, 140*). К важнейшей для российского просвещения дате — рождению Пушкина — в его родном городе продается «лучшего поведения видный пятидесятилетний лакей, да ямских кучеров два и разного звания люди», да «в Тверской Ямской в доме ямщика Андрея Маслова продается повар 24 лет с женою 18 лет и малолетней дочерью» (*«Моск. ведомости», 25.V.1799*). По тонкому наблюдению Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского,

очень часто как раз более просвещенные были в том веке не самыми гуманными...

Если представить весь тогдашний мир, мы увидим страны не меньшего, может быть, а большего социально-политического рабства (Турция, Персия, Китай), но солнце просвещения стоит над ними в ту пору довольно низко: господа и рабы там как бы скреплены общей цепью застоя... Легко найдем на карте XVIII века и края более «просвещенные», куда Петр ездил учиться; но такого рабства, как в России, они не знали, развивались не столь взрывчато, и пропасть между дворцом и хижинкой была заполнена «мещанством», «третьим сословием», буржуазией с ее мануфактурами и компаниями...

В России же купец — либо еще не оплативший волю крепостной Савва Морозов (чья «мануфактурная фабрика» в Зуеве основана в 1797 году, когда он еще был крепостным ткачом); либо Демидов, успевший получить дворянство и все крепостнические права, или таковой же прадед Н. Н. Пушкиной Гончаров; либо купчики вольные, некрупные, мечтающие попасть в Демидовы, но пока что робкие: такие, кого тамбовский комендант Григорьев за плохой товар «бил из своих рук натурально тростью по всей их одежде» (ЦГВИА, ф. 8, оп. 10199, №530, 1800 г.). Система, которая, как знаем по гоголевскому «Ревизору», и полвека спустя не слишком переменится.

17 копеек в год тратит на покупки среднестатистический житель империи (через полвека будет в 20 раз больше — см. *Яцунский*, 100). И это один из показателей, как слабо еще была «разъедена» товарностью, капитализмом натуральная толща российской жизни, — то, о чем еще в 1836 году будет толковать прозорливый Александр Тургенев, надеясь, что «отчизна Вальтера Скотта благодетельствует родине Карамзина и Державина. Татарщина не может долго устоять против этого угольного дыма шотландского; он проест ей глаза, и они прояснятся» (*Лит. архив*, I, 85).

Итак, сравнительно малая российская «буржуазность», стремительная быстрота просвещающих реформ, неслыханный, причудливый исторический контраст рабства и прогресса.

Как и почему именно в России так получилось — не здесь рассуждать: ответ ведет в глубины истории.

Пока же приведем характерные факты, число которых легко удесятерить. Грамотный человек, но совершивший два доказанных убийства и за них осужденный, назначается судьей в сибирский город Тару, ибо для должности нет людей (и в том уезде бесчинствует не «яко тать», а просто «тать» — см. *Покровский*, 35).

Анна Иоанновна отменяет назначенную казнь из-за улучшения погоды.

Камердинер, который дежурит у дверей Елизаветы Петровны, обязан прислушиваться и, когда императрица закричит от ночного кошмара, положить ей руку на лоб и произнести «лебедь белая», за что сей камердинер пожалован в дворянство и получает родовую фамилию Лебедев.

Петербургский обер-полицмейстер Татищев предлагает безвинно пострадавшим выжигать перед незаслуженным клеймом «вор» частицу «не»: «Не — вор» (*РБС, А. Д. Татищев*).

Молодой Николай Раевский, будущий герой 1812 года, учится вместе с друзьями переплетному делу, чтобы прокормиться, когда придут санкюлоты и революция все сметет; однако даже в фантастическом сне ему не вообразить, что революция явится не из дальних краев, а в собственном его семействе (зять Волконский — в декабристы, дочь Мария — в декабристки).

Парадокс, так сказать, в природе вещей...

А ведь пушкинская формула «Свобода — неминуемое следствие просвещения» верна: не минует...

*И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная заря?..*

Взойдет, но когда? Завтра? Через 10, 50, 100 лет?..

«Пушкинский путь» к свободе просвещенной — первая естественная реакция просвещенного человека на невыносимый петровский «дуализм»: неслыханное сочетание мглы и света, по Пушкину, не удержится, свет одолеет. Петр I «не страшился...», но уже через одно-два поколения появляются серьезные головы, которые веруют в просвещение и еще раз в просвещение и что